

Далеко не поэтические мотивы заставили Пушкина в 1820 году покинуть Петербург: император Александр I отправил поэта подальше от столицы, поскольку тот «наводнил Россию возмутительными стихами». Знакомство с прославленным генералом Н.Н. Раевским спасло 20-летнего Пушкина от прозябания в Екатеринославле, куда он был откомандирован «Комитетом об иностранных поселениях южного края России». Вместе с семьей генерала больной поэт провел два месяца на кавказских Минеральных водах, а потом прибыл в Крым. Краеведы подсчитали, что за три крымские недели поэт посетил более 50 населенных пунктов, преодолел в карете, верхом на лошади и пешком 650 километров, да еще 150 километров – по морю. Крымские реалии, чувства и впечатления нашли отражение в трех десятках произведений Пушкина, среди которых такие шедевры, как элегия «Погасло дневное светило», поэма «Бахчисарайский фонтан», роман «Евгений Онегин»... Собственно, пушкинским маршрутом – на Кавказ и потом через Керчь в Крым – путешествует и разочарованный герой стихотворного романа:

Он едет к берегам иным,
Он прибыл из Тамани в Крым,
Воображенью край священный.

Долго еще вспоминал поэт счастливые дни, проведенные под

полуденным небом. В конце 1836 года он признавался переводчику Н.Б. Голицыну, жителю Артека: «Как я завидую вашему крымскому климату; /.../там колыбель моего Онегина, и вы, конечно, узнали некоторых лиц». По свидетельству П. Анненкова, биографа поэта, до появления в Крыму «тетради его белы и представляют мало пищи уму изыскателя». Однако и богатый, казалось бы, крымский период его жизни и творчества породил массу вопросов. Пушкин не вел дневников, и все его житейские впечатления фактически уместились в двух небольших текстах: письме брату Л.С. Пушкину от 24 сентября 1820 года и «Отрывке из письма к Д.», относящемуся к 1824 году. Находясь в плену романтических чувств, поэт не придавал значения «житейской прозе» – тем реальным деталям и приметам, благодаря которым можно воспроизвести обстановку, в которой жил и творил: природа, жилища, погода, климат, местные нравы, встречи с людьми.

Впрочем, вкус к реальным деталям /»фламандской школы пестрый сор»/ развивался у романтического поэта буквально на глазах. Достаточно сравнить два описания Гурзуфа, между которыми дистанция всего в четыре года. Попробуйте узнать что-то о реальном татарском поселении в следующем описании:»... счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворя-

ющая воображение, – горы, сады, море...» Сопоставьте сие эмоциональное, но беспредметное описание с пейзажем, воспроизведенным спустя годы: «Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы, плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-даг...» Тьма живописных деталей!

Работая над «Евгением Онегиным», Пушкин явственно ощущал смену своих эстетических ориентиров. О крымских стихах, наполненных звонкими определениями вроде «прелестный край», «очей отрада», он пишет в «Путешествии Онегина»:

В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...

Теперь у поэта появились и другие ценности:

Иные мне нужны картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучки,
Перед гумном соломы кучки -
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых.

История литературы полна иронии: возлюбленные Пушкиным «на старости лет» утки и рябины уже фигурировали в описаниях Крыма – и как раз в лето памятного 1820 года! Вот как педантичный, исполненный благородных помыслов о научном описании Тавриды И.М. Муравьев-Апостол детально обрисовывает алушкинский дом, где остановил-

ся на ночлег: дом окружен садом, состоящим «из дерев гранатовых, фиговых, оливковых, рябин / Cormier/, лавров, кипарисов». Очевидно, что латинское название рябины снимает с описания какое-либо подобие поэзии. Другой путешественник, Гавриил Гераков, как бы в издевку над «плаксивыми путешественниками, романтическими писателями», превозносившими симферопольский Салгир до небес /у Пушкина – «Брега веселого Салгира»/, описывает пересохшую за лето речушку скорее как ручей – «менее ручья, ибо и утки ходят поперек оною, а плавать не могут». Другими словами, интерес к «фламандскому сору» в 1820 году еще не обрел надлежащей художественной формы: один литератор впадает в сухой педантизм, другой живописует бытовые детали в громоздких словесных конструкциях века восемнадцатого.

Тексты Пушкина, несомненно, содержат немало реальных деталей его пребывания в Тавриде. Надо только подобрать ключи, имея в виду, что память поэта была наполнена массой живых подробностей. Многие из них оказываются весьма существенными при анализе творчества поэта и характеристике Крыма той поры.

К примеру, на полях черновика «Евгения Онегина» исследователи обнаружили рисунок Золотых ворот – базальтовой скалы, торчащей из воды возле Карадага. Пушкин, очевидно, вспомнил скалу, виденную им во время морского перехода из Феодосии в Гурзуф, однако никаких упоминаний нет ни в письмах, ни в произведениях. Вокруг скалы на рисунке различ-

мы чертики, бесы: к чему бы это? Оказывается, в прежние времена скалу называли «Шайтан-капу» – Чертовы ворота! Следовательно, на борту судна был и человек, который рассказывал поэту о достопримечательностях побережья. С кем общался поэт? Как называлось судно?

Пушкин не назвал ни того, ни другого и задал задачу, которую не могли распутать на протяжении столетия. Считалось, что путешественников доставили в Гурзуф на борту военного брига «Мингрелия», и уже развивались цепочки сенсационных биографических связей: ведь капитаном брига был Станюкович, будущий адмирал и отец писателя-мариниста Константина Станюковича! Лишь недавно стараниями краеведов было выяснено, что «Мингрелия» в это время выполняла секретную миссию у берегов Грузии, а в распоряжение генерала Раевского и его семьи был предоставлен корвет «Або»; командиром его был капитан-лейтенант И.П. Дмитриев. Стало быть, именно после рассказов Дмитриева о берегах Тавриды молодой поэт всю ночь расхаживал по палубе и «бормотал стихи»: это была элегия «Погасло дневное светило».

Не менее любопытны сведения о том, что Пушкин стал ... первооткрывателем крымской березы! Об этом поведали в местной газете географы и натуралисты В. и А. Ена, опираясь на рассказ поэта о переходе через перевал Шайтан-Мердвень /Чертова лестница/. «Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое жжалось...» Оказывается, до

включения полуострова в состав Российской империи «о березе в Крыму географической науке ничего не было известно».

Следы острой наблюдательности поэта исследователи находят в деталях быта, воспроизведенных в романтической поэме «Бахчисарайский фонтан». Известно, что татарские женщины по традиции обязаны находиться дома, и путешественники не раз отмечали пустоту на улицах Бахчисарая. Гавриил Гераков, приехав сюда через неделю после Пушкина, записал в дневнике: «Ходил по городу, погода была ясная, теплая, но ни одного лица женского не встретил». У Пушкина же читаем:

Покрыты белой пеленой,
Как тени легкие мелькая,
По улицам Бахчисарая,
Из дома в дом, одна к другой
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досуги.

Так что же, Пушкин ошибся? Ан нет: поэт посетил город во второй день мусульманского праздника Курбан-байрам /7 сентября/, когда женщинам предписывалось посещать соседей и родственников, чтобы вкусить праздничные угощения.

Следуя за строкой пушкинских произведений, казалось бы, весьма отдаленно приближенных к крымской тематике, внимательный исследователь способен отыскать реальную подкладку образов, навеянных впечатлениями от Южного берега. Это касается стихотворения «Буря», написанного в 1825 году в Михайловском:

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами,
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами...

Крымские краеведы доказали, что образ «бурной мглы» возник как воспоминание о реальной буре, которая после удушающей жары разразилась на побережье 27 августа 1820 года: наделав дел в Севастополе, тайфун к ночи добрался до Гурзуфа, где его, очевидно, и пережил Пушкин, любитель ночных прогулок по берегу.

Недостаток реальных сведений, как правило восполняется мифотворчеством: история пребывания поэта в Гурзуфе обросла легендами, сочиненными на потребу туристам. Поэт А. Подольский, к примеру, написал даже стихотворение о старике-татарине, который якобы совершал верховые прогулки с Пушкиным по окрестным горам. Н.А. Некрасов, работая над поэмой «Русские женщины», не удержался и воспроизвел легенду о соловье, который будто бы прилетал к Пушкину в Гурзуфе и распевал на ветвях любимого кипариса. Хотел бы я видеть соловьев, поющих в августе, да еще на кипарисах! Этим обыкновенно занимаются местные дрозды.

Расшифровке пушкинских строк, несомненно, содействует воссоздание детальной картины природы, жизни и нравов Крыма той поры. Этой задачей было увлечено несколько поколений ученых, журналистов, краеведов. Одним из первых, кто привлек для этого малоизвестные путевые записки Гавриила Геракова, был Валерий Брюсов. Интерес поэта к Пушкину был исключительным: он опубликовал о нем более 80 работ и мечтал о создании Пушкинского словаря. В 1908 году им была написана статья «Пушкин в Крыму», в которой попытался

разработать «итинерарий» – своего рода «дорожник» поэта в его путешествиях по Кавказу и Крыму. Поскольку молодой поэт совершенно не заботился о датировке и описании маршрута, Брюсову пришлось прибегнуть к свидетельству Геракова, что помогло обозначить или уточнить многие даты крымской биографии Пушкина. Опираясь иногда на Геракова некритически, Брюсов впал в заблуждение относительно времени пребывания Пушкина в Бахчисарае – 20 сентября, тем самым отодвинув и дату прощания поэта с Крымом.

Последующие поколения пушкинистов исправили эту ошибку, однако породили немало новых заблуждений. Если заглянуть на страницы капитального путеводителя «Пушкинские места», изданного в Москве в 1988 году в двух частях, то появится впечатление, будто Пушкин по меньшей мере дважды посетил Бахчисарай: 7-8 сентября – сопровождая генерала Раевского, и 13 сентября – с группой симферопольской молодежи. Авторы ссылаются ... на Геракова, который отказался ехать с компанией потому, что в ней якобы был и Пушкин! Таким образом, среди «пушкинских» мест Крыма оказались и окрестности Бахчисарая – Успенский скит и крепость Чуфут-Кале. Однако, если внимательно прочитать текст «Путевых записок», то обнаружится, что Гераков частенько отказывался от поездок по весьма прозаической причине: боялся ездить верхом по горным дорогам. «Что пользы видеть красоты природы в страхе и с зажмуренными глазами», – записал он 16 сентября.

Обращение к свидетельствам

Геракова особенно характерно для многочисленных публикаций, выходящих в Крыму. Возьмите альманах литературных музеев «Крымские пенаты» за 1994 год: только в статье о пребывании Пушкина в Георгиевском монастыре текст Геракова цитируется восемь раз! И тому есть основание: Гераков посетил монастырь через 15 дней после Пушкина и оставил описание, на основании которого ученые дают детальное воспроизведение того, что видел Пушкин в этом поразительном по красоте месте.

Известно, что увиденное возбудило его поэтическое вдохновение, однако как скупы переданы непосредственные впечатления! «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы». Пушкин имел в виду стихотворение «Чаадаеву» 1824 года:

К чему холодные сомненья!

Я верю: здесь был грозный храм,

Где крови жаждущим богам

Дымились жертвоприношения...

Гераков же подробно описывает и природу, и устройство монастыря, воспроизводит беседу со старым знакомцем – митрополитом Хрисанфом /который, оказывается, знал еще матушку Геракова/, упоминает предполагаемое место храма Дианы, описывает археологические находки /древнюю мраморную колонну/

перечисляет персонал монастыря и т.д. Это дало ключ для выяснения множества подробностей, вплоть до того, кто из монахов был гидом Пушкина... В сущности, вся аргументация статей построена на свидетельствах Геракова, однако это не помешало авторам охарактеризовать его как «самовлюбленно-чопорного» человека. Хотя, если разобраться, Гераков несомненно заслужил и слова благодарности.

Что представлял собой Гераков? Каковы его отношения с Пушкиным? Насколько обширны и основательны его впечатления о Крыме той поры? На все эти законные вопросы требуется ответ – особенно сейчас, когда 200-летний юбилей вызвал всеобщий интерес к малейшим подробностям жизни великого поэта.

Сведения о биографии Геракова можно почерпнуть в ряде дореволюционных и современных справочных изданий, в частности, в Большой энциклопедии под редакцией С.Н. Южакова /СПб., 1903/, Биографическом словаре «Русские писатели. 1800-1917. /М., 1989/. Гавриил Васильевич Гераков /1775-1838/ по происхождению – грек: отец его родом из Пелопоннеса, мать – из Константинополя; самого же его сразу после рождения перевезли из Москвы в Петербург. Греческое происхождение, как ни странно, во многом объясняет обширность его контактов в Крыму: грек Н.Ю. Патионити водил Геракова по развалинам Пантикапеи, грек К. И. Саргл-Янакиев был его гидом в Бахчисарае, митрополит Хрисанф в Георгиевском монастыре – тоже грек, и всем было приятно сделать

любезность соплеменнику из столичного Петербурга. Сердечные отношения сложились у Геракова с губернатором Барановым, и любезность крымских властей доходила до того, что путешественника, несмотря на незначительность его чинов, поместили в лучшие покои ханского дворца и отменно ухаживали: на столе его были и горячий «кебап», и свежие фрукты с корзиной винограда. Немало удивлялись этому члены семейства Раевских, которых поместили в покои посромнее, на что Гераков отвечивал: «Ласковый теленок двух маток сосет!»

Гераков окончил Греческий корпус, учрежденный Екатериной II для православных чужестранцев, с золотой медалью. Его оставили учителем, потом он стал преподавателем в I Кадетском корпусе, где в это время учился небезызвестный Ф.Булгарин. «Он был отличным учителем истории, умел /.../ воспламенять страсть к славе, величию и подражанию древним героям», — вспоминал Булгарин. Первый писательский опыт Геракова — книга сочинений и переводов «Для добрых» /1801/ Любовную лирику содержал сборник «Слава женского пола» /1805/, однако основной тематикой стал патриотизм: «Герои русские за 400 лет» /1801/,»² Твердость духа некоторых россиян» /1803/, «Чувства русского» /1812/,»³ Мои мысли по истреблении армий Бонапартовых» /1813/ и др. На этой почве Гераков сблизился с офицерской молодежью — С. Мариним, Д. Давыдовым, Ф. Толстым, с которыми встречался в доме графа М.С. Воронцова.

Литературные вкусы Герако-

ва были обращены в прошлое: он не признавал новации Карамзина, выступал против засилья французской моды и языка. Ходили слухи, что по его доносу была изъята из продажи книга И.П. Пнина, известного в обществе как воспитателя Радищева. Все это, включая малый рост и непомерное пристрастие к прекрасному полу, стало предметом насмешек и эпиграмм. Поэт Сергей Марин, упомянутый, кстати, в романе Толстого «Война и мир», написал пародию в виде оды «На рождение порфирородного отрока». Журналы не желали печатать произведений Геракова, и он выпустил их под курьезным заглавием: «Российские исторические отрывки, написанные Г., но не помещенные г. Жуковским в свой журнал «Вестник Европы» 1808 г., с прибавлением того, что не помещено в 1805 г. в «Вестнике же Европы» г. Каченовским».

Летом 1820 года Гераков сопровождал в поездке по югу России молодого князя А.Б. Куракина и по прошествии лет опубликовал свои впечатления в книгах «Путевые заметки по многим Российским губерниям 1820 г.» /Петроград, 1828/ и «Продолжение путевых записок...» /1830/. Автор посвятил сей труд «почтеннейшему, нежнейшему полу»: «ваша единственная улыбка, ваше одобрение, и — я доволен и счастлив!» Уже в этом ощущается отрывка литературных обычаев 18 века, когда за писания дарили улыбкой или табакеркой, а сама литература была не профессией, а досугом небесталанных дворян. Пушкину, конечно же, не раз приходилось посвящать стихи дамам, однако, став поборником профессионального писа-

тельского труда, уже в 1824 году писал об «улыбке прекрасного пола»: «Все это старо, ненужно и слишком и слишком уж пахнет шаликовской невинностью».

Случайное столкновение на Кавказских водах в августе 1820 года столь разно ориентированных личностей, как Пушкин и Гераков, ничем хорошим кончиться не могло. Их встреча зафиксирована в путевых записках Геракова; вместе с Аполлоном Мариным, бывшим своим учеником, Гераков отправился принимать минеральные ванны. «Тут увидел Пушна молодого, который готов с похвальной стороны обратить на себя внимание общее; точно он может, при дарованиях своих; я ему от души желаю всякого блага; он слушал и колкую правду, но смиряся; и эта перемена делает ему честь». «До ужина опять обнимали нас кисло-серные воды; часть времени с Мариным и Пушкиным языком постучали и разошлись».

Судя по тексту, Геракову уже приходилось сталкиваться с молодым поэтом – вероятно, в столице; однако он явно поспешил объявить о «перемене» и «смирении» Пушкина. Очевидно, острый на язык поэт не остался в долгу за «колкую правду», и вскоре пушкинскую тему в заметках Геракова как ножом отрезало. Наверное, это было нелегко, поскольку маршруты их следования по Кавказу и Крыму совпадали в деталях. По меньшей мере дважды до переправы в Крым Гераков пересекался с семьей генерала Раевского, даже обедал с ними у коменданта Кавказской крепости; в «Записках» он хвалит генерала, приветливость его сына, любезность благовоспи-

танных дочерей, но Пушкин для него уже не существует! Точно так поступает Гераков и в Крыму, при встречах в Керчи, Феодосии и Симферополе. Лишь изредка, как бы сквозь зубы, промелькнет глухое упоминание о «петербургском шалуне».

Недоброжелательные характеристики Пушкина, разумеется, мало интересны нынешнему читателю; главное в «Записках» Геракова – многочисленные подробности и впечатления, создающие реальный фон пушкинского «итинерария». Сквозь цветистый стиль Геракова иногда приходится проламываться, словно через словесные джунгли. Каково читать подобные перлы: «В 10 часов Кикимора, славянский бог сна, покрыл нас своим крылом»; или – о переходе через пролив: «пустились по страшной жидкости».

Можно поражаться тому, насколько различно восприятие Пушкина и Геракова. С разницей в несколько часов они познакомились с развалинами легендарной Пантикапеи в Керчи, однако первому представлялось, что он видит остатки «Митридатова гроба», а второму казалось, что перед ним – «Митридаковы кресла»! И в том, и другом случае путешественники излагали расхожие легенды. «Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я – на ближней горе посереде кладбища увидел я груды камней, утесов, грубо высеченных – заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни – не знаю». Пушкинский скепсис, явственно проступающий в цитируемом письме брату,

привел к тому, что через четыре года поэт пишет уже о «так называемой Митридатовой Гробнице», а в крымских строфах «Евгения Онегина» /1829 год/, как заметили В. Казарин и Э. Яковенко, легенда о гробе вообще не упоминается. Автор приводит только один достоверный факт: «Там закололся Митридат». Надо полагать, не последнюю роль в освобождении сознания поэта от легендарных наслоений сыграло знакомство с книгой И.М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде» /1824 г./, где выдумки о «гробе» и «кресле» были подвергнуты уничижительной критике.

Любопытны и впечатления Геракова:» ...Видели то место, где, как говорят, Митридат, Понтийский Государь, сиживал. Я сел на сии большие кресла, красиво иссеченные из дикого камня в скале, и окинул взором вокруг себя. Прелестная и величественная картина! Но какой ученый и преученный уверит меня, что это был точно трон Митридата? Чем докажет, что сей Царь, на чистом воздухе восседая под облаками, давал расправу и готовился на брань? /.../ Но – полно; кажется, я не за свое берусь; есть схоластики, им предоставлено писать диссертации или подобные изыскания».

Как видно, здравомысленному путешественнику тоже показалось странным, что могучий государь вершил государственные дела под открытым небом. Однако судить об этом – удел ученых «схоластиков» и «педантов», оторванных от реальной жизни. В кого метил Гераков – видно по описанию спора, имевшего место 21 сентября 1820 года в Севастополе, после

посещения Георгиевского монастыря. «Главный педант М. стоял у забора. Спорили о месте храма Ифигении: где ему быть». Гераков, – тут я цитирую его текст, – «улыбаясь и продолжая доедать цыпленка», заявил следующее: «перестаньте пускать пыль в глаза; какая польза для человечества, тут или в другом месте был воздвигнут храм Ифигении». Автор «Записок» не пожалел язвительных эпитетов для педантов: «Высокоумные, или полуученые /.../ мечтают, что нашли Ариаднину нить и все в точности знают и определяют – такие пастыри высокомерные!»

«Главный педант М.» – конечно же, И.М. Муравьев-Апостол; публикуя свои путевые записки через пять лет после выхода труда Муравьева, Гераков не посчитал нужным «сверить» свои наблюдения с его данными, глубоко презирая отвлеченную ученость «схоластиков». По запискам видно, что и Пушкин отнесен к разряду «педантов», «шалунов», достойных употребления «аттической соли», то есть, сатиры. С полной симпатией Гераков отнесся, пожалуй, разве к губернатору Баранову, с которым провел немало времени в те дни, когда Пушкин набирался романтических впечатлений в Гурзуфе. С теплотой отзывался о молодом губернаторе и Пушкин, назвав его «честным гражданином и умным человеком». Об этом следует поговорить подробнее.

После Феодосии, устрасая перспективы триста верст провести в седле /по условиям тогдашнего бездорожья проезжали по 50 верст в сутки/, Гераков отказался от мысли ознакомиться с досто-

примечательностями Южного берега, сел в коляску и, не выходя из нее даже в Карасубазаре, отправился прямо в Симферополь. Прибыв на станцию Зуя, Гераков послал вперед нарочного сообщить губернатору, что едет человек, «коротко знакомый с ним по Петербургу». Баранов встретил путешественника на крыльце «как друга, как любезного брата» и предоставил целых три комнаты. Позднее в них разместился и князь Куракин, поэтому вряд ли основательны предположения, что и Пушкин с Раевским-младшим жили в доме Баранова.

Столица Крыма не произвела особого впечатления на путешественника, однако он добросовестно описал все увиденное. Город приятно удивил чистотой, однако улицы оказались так узки, что «две телеги разъехаться не могут». Православных храмов оказалось мало, зато везде виднелись минареты. Зайдя послушать церковную службу, Гераков поразились бедности убранства и тому, что вместо обыкновенного напева в церкви исполнялись произведения Бортнянского. Интересно описание турецкой бани с горячими полами: чтобы не обжечь ноги, посетители надевали деревянные башмаки. Банщик-татарин растирал Геракова жестким шерстяным мешочком, а потом душистым мылом. Побывал он и на базаре, который проводился раз в неделю, по пятницам.

Спутник Геракова приболел, и путешественник посвятил время знакомству с местным обществом – химиком Дессером, у которого остановился генерал Раевский с семьей; с графом Ланжероном, с бывшим губернатором Бороз-

дыным, с врачом Мюльгаузенем – он, кстати, лечил Куракина, – то есть, теми людьми, которые и составили круг общения Пушкина в губернском городе. Кроме того, в «Записках» названы фамилии губернского секретаря Фабра, помещика Офрейна, доктора Ланга, дивизионного генерала Удома, англичанина Виллиса, татарского князя Балатука... Последний был воспитанником Геракова в Кадетском корпусе и дослужился до генерал-майора.

В симферопольском обществе, оказывается, любили поговорить «об учености», что, по мнению Геракова, есть признак истинной образованности. Заметил, однако, что и тут есть «педанты»: «дуются, как индейские петухи, и я принужден был употребить аттическую соль; смеху было довольно». Высказана была претензия за увлечение общества французским языком: «куда эта зараза не проникла!» Велись разговоры о литературе: «некоторые мои замечания на счет чтения принимаются с благодарностью, и вместе со мной /.../ Жан-Жака Руссо и дерзкого Вольтера здесь не уважают». Можно представить реакцию Пушкина, который как раз в Гурзуфе обнаружил старинную библиотеку и перечитывал Вольтера; позднее и своего Онегина заставил штудировать Руссо...

На балу у губернатора Гераков читал стихи; это была ироническая ода на рождение «порфиородного отрока» Сергея Марина, о которой мы уже упоминали. Публика смеялась: нечасто встречаются чудачки, которым нравится исполнять пародии на себя самих. Геракова окрестили «истинным философом». Он

цитировал стихи В.Крюковского, посвященные ему же:

Ты прост в душе, но хитр воображеньем,

Мал светской степенью, велик ума пареньем.

Девицы смеялись и сравнивали Геракова с французским натуралистом графом Бюффеном, известным своим непомерным честолюбием: еще при жизни ему был поставлен памятник при входе в королевский естественно-исторический музей; по смерти же водрузили бронзовую статую на Елисейских полях. Читая эти строки, невольно вспоминаешь мосье Трике из «Евгения Онегина»: «догадливый поэт» – «скромный, но великий»...

Александр Николаевич Баранов стал таврическим губернатором в декабре 1819 года; имел чин действительного статского советника и камергера. Предок его – выходец из Крыма мурза Ждан по прозванию Баранов – перебрался в Россию при великом князе Василии Темном. Губернатором Тавриды Баранов стал в 27 лет. Его либеральные воззрения, по некоторым смутным упоминаниям, были близки к южному крылу декабристского движения. Не случайно, стало быть, при получении известия о смерти Баранова в 1821 году Пушкин назвал его «гражданином». Записки Геракова дают представление о романтическом энтузиазме и некоторой утопичности воззрений молодого и сановитого чиновника – собеседника Пушкина в дни пребывания в Симферополе. Эти свойства, очевидно, в той или иной мере были присущи всему декабризму.

У губернатора Гераков про-

чел записки бывшего феодал-сидельского градоначальника С.М. Броневского, известного пропагандиста садоводства. Броневский прослужил в должности 5 лет и был отстранен от дел по наветам недоброжелателей. Возле города, на даче «Добрый приют», он заложил большой сад /более десяти тысяч фруктовых деревьев/; по свидетельству Геракова, он продавал в год до двадцати пудов миндальных орехов, на что и кормился. В саду помещались археологические находки Броневского: остатки мраморных колонн, камни с надписями, храмики, горки; памятник рано умершей племяннице и др. Тут он в августе 1820 года принимал генерала Раевского и его спутников, – тут мы вправе представить и молодого Пушкина, который, кстати, из многих десятков крымских лиц только и запомнил фамилию Броневского. В записке губернатору Броневский развивал мысли о создании в Крыму гигантского фруктового сада, достойного величия России – аж «на 250 верстах»!

Нечто подобное витало и в голове Баранова. 22 августа Гераков записал в дневнике, что целых два дня губернатор читал ему свои планы благоустройства Крыма: «как привести в порядок магометанскую веру». Через неделю он вновь посетил Геракова и до полуночи читал свои сочинения по образованию крымских татар. «Похвально написано», – отметил слушатель. Между ними сложились доверительные отношения, говорили даже о взятках. Гераков заявил, что «всегда был и есть враг взяточников; но нравственные взятки нахожу гибельнее денеж-

ных». Губернатор попросил изложить сии ценные мысли на бумаге, и Гераков тотчас взялся за перо.

«Добродетельные мужи /.../ по слабости человеческой, чтобы утереть слезы, прекратить истерики и обмороки любимых или супругов, против сердца и правил своих, исполняют несправедливые их просьбы...» Это, собственно, и есть «нравственные взятки», против которых так ополчился заезжий петербургский гость. Расстроганный Баранов облобызал Геракова: «Вы кратко обнажили истины неоспоримые!» Он поклялся в скорейшем времени «искоренить лихоимство в Таврической губернии». При прощании, как отметил Гераков, «оба плакали». В 1821 году Баранов умер, вызвав сочувственный отклик Пушкина, а поколения губернаторов и градоначальников до сих пор безуспешно борются с «нравственными» и прочими взятками...

Небезынтересны для характеристики образованного общества пушкинской поры и другие наблюдения Геракова. Путешествия – в образовательных и развлекательных целях – являлись неременным атрибутом образа жизни представителей дворянства, что и Пушкин подтвердил в романе «Евгений Онегин». Знакомство с развалинами и древностями, с лапидариями – собраниями античных надписей на обломках мрамора – наталкивали путешественников на мысль «увековечить» на памятных камнях и пребывание собственной персоны.

Подобные соображения возникают при чтении бахчисарайских страниц Геракова, который посетил ханскую столицу 19-20

сентября. Сопровождая гостя по анфиладам запущенного дворца, сторож-инвалид показал ему французскую надпись на оконном стекле, процарапанную бриллиантом; граненый алмаз, очевидно, был вправлен в перстень. Текст ее таков: «L'amour et la coligue, sont deux canailles; L'un brule le coeu et l'autre les outrailles». Неизвестный, но несомненно образованный посетитель начертал афоризм о родстве любви и боли: первая разбивает сердце, вторая раздрает внутренности... Подобная анонимность не была правилом: при посещении пещерного Успенского монастыря в окрестностях Бахчисарая Гераков обнаружил на стенах десятки имен туристов – и все на французском языке! Борец против иноземного засилья, Гераков весьма возмущился этим и, взяв в руку свинцовый карандаш, тут же начертал свое имя – по-русски!

После этого, может быть, стоит вернуться к давним спорам: не оставил ли и Пушкин автограф на предполагаемом жертвенном камне храма Дианы? Поэтический ли оборот – или реальный факт, дань моде – отражен в заключительных строках стихотворения «Чаадаеву» /1824 г./:

На камне, дружбой освященном,

Пишу я наши имена.

10 сентября 1820 года, по приезде генерала Раевского в Симферополь, губернатор дал обед, на котором присутствовали гости и местный бомонд. Гераков отметил это событие, не удержавшись от шпилек в адрес своего обидчика. «Ничто меня так не беспокоит, как молодой человек со способностями, богом данными; прово-

дит время в праздности и, кажется, с удовольствием обнимается с невежеством». Характеристика эта, вероятнее всего, касается именно Пушкина; спутник Геракова, князь Куракин, в это время болел, а о другом молодом человеке – Николае Раевском-младшем – Гераков отзывался с пиететом. Что подразумевалось под «объятиями с невежеством», можно только гадать. Но возможен и намек на те шалости, которыми Пушкин чуть позже повергал в смущение кишиневскую публику. Одевшись цыганом или евреем, он бродил по базару, заговаривая с простолюдинами... Как знать, не забавлялся ли он точно так же и на симферопольском рынке... На сей счет никаких достоверных сведений нет, – как, впрочем, нет даже точной даты прощания поэта с Тавридой.

Сам же Гавриил Гераков поки-

нул пределы Крыма 30 сентября 1820 года. Перечитав крымские записи, путешественник остался удовлетворен их содержанием. Он припомнил имена Державина, Карамзина, Капниста и других литераторов, которые хвалили его сочинения: «может быть, не за слог, но за предмет писания моего...» Похвалив себя таким образом, Гераков со слезами на глазах выехал из Перекопа в Одессу. Об одном итоге путешествия он сообщил позже: пришлось заказать пару нового платья. Растолстел! «Кажется, езда мне полезна», – скромно констатировал автор.

Из приведенных выдержек ясно, что «Путевые записки» Геракова, при всем обилии словесного и бытового «балласта», несомненно интересны для характеристики Крыма пушкинской поры.